

I. Упразднение работы

Никто и никогда не должен работать.

Труд — источник чуть ли не всех человеческих несчастий. Назовите любое почти зло — оно происходит из-за труда или из-за того, что наш мир построен вокруг труда. Чтобы перестать страдать, надо перестать работать.

Это не значит, что мы должны перестать что-либо делать. Это значит, что надо создать новый образ жизни, основанный на игре; другими словами, это значит луддитскую революцию. Под «игрой» я понимаю также празднества, творчество, содружество, сообщничество, может быть даже искусство. Игра это больше, чем детская игра — как бы достойна ни была последняя. Я призываю к обобщенной радости и поистине свободному безрассудству. Игра это не пассивный отдых. Без сомнения, даже просто обычной лени и безделья нам нужно гораздо больше, чем мы сейчас можем себе позволить, каков ни был наш доход и профессия. Но, как только пройдет навязанное трудом истощение, почти каждый предпочтет действовать. Обломовщина и стахановщина — это две стороны одной и той же фальшивой монеты.

Луддитская жизнь совершенно несовместима с существующей действительностью. Тем хуже для «действительности» — черной дыры, высасывающей последние соки из того немного, что пока еще отличает жизнь от выживания. Забавно — а может, и не очень — что все старые идеологии по сути консервативны, поскольку верят в труд. Некоторые из них, такие как марксизм и большинство сортов анархизма, верят в труд особенно страстно, потому что мало во что еще верят.

Либералы утверждают, что надо устранить дискриминацию при приеме на работу. Я утверждаю, что устранить надо саму работу. Консерваторы поддерживают законы о праве на труд. Следуя Полю Лафаргу, беспутному сыну Карла Маркса, я поддерживаю право на лень. Леваки требуют полной занятости. Как сюрреалисты, я требую полной незанятости — только я не шучу. Троцкисты призывают к перманентной революции, я призываю к перманентному буйству. Но, хотя все идеологи утверждают труд — и не только потому, что рассчитывают свою порцию свалить на кого-то еще — они странным образом стесняются прямо в этом признаться. Они бесконечно твердят о зарплате, рабочих часах, условиях труда, эксплуатации, производительности, рентабельности. Они рады рассуждать о чем угодно, кроме работы как таковой. Эти эксперты, предположительно думающие за нас, крайне редко делятся с нами своими заключениями по поводу работы — несмотря на то, как это для всех нас важно. Замкнувшись в своем кругу, они бесконечно обсасывают детали. И профсоюзы, и работодатели согласны, что мы обязаны продавать часы нашей жизни за право на выживание, и спорят только из-за цены. Марксисты думают, что начальствовать над нами должны бюрократы. Либертарианцы полагают, что бизнесмены. Феминисткам плевать, как именно называются начальники, лишь бы они были женского пола. Очевидным

образом все эти идеологизаторы серьезно расходятся во мнениях по поводу того, как делить полученное с помощью власти. Столь же очевидным образом, никаких возражений против собственно власти у них нет. И все они хотят, чтобы мы работали.

Вы наверно пытаетесь понять, шучу я или говорю серьезно. И то, и другое. Быть луддитом — не значит быть дебилом. Игра не обязана быть ни к чему не обязывающей, хотя и безответственность не значит банальность — очень часто к безответственности следует относиться серьезно. Я хочу, чтобы жизнь стала игрой — но игрой с высокими ставками. Я намерен играть на выигрыш.

Альтернатива труду — не безделье; Лудд это не квалуд. При всем моем уважении к радостям тупой прострации, приятнее всего она тогда, когда перемежает собой развлечения и радости другого рода. И тем более я не хочу рекламировать управляемую, рассчитанную по часам отдушину, известную как «досуг». Досуг — это когда не работают во имя работы. Досуг это время, потраченное на выздоровление от работы и отчаянные, но безнадежные попытки забыть о ней. Как много людей возвращается из отпуска настолько вымотанными, что с радостью бегут на работу, чтобы отдохнуть! Основная разница между работой и досугом — это что на работе за вашу нервотрепку и отчуждение вам по крайней мере платят.

Я совершенно не хочу играть с определениями. Когда я говорю, что призываю к упразднению работы, я имею в виду ровно то, что говорю — но я хочу высказать то, что имею в виду, используя термины, очищенные от побочных ассоциаций. Мое минимальное определение работы — принудительный труд, иными словами, недобровольная производительная деятельность. Оба элемента важны. Труд, или работа — это производство, вынуждаемое политическими или экономическими средствами, кнутом или пряником. (Пряник — это просто кнут, которым бьют с другого угла.) При этом не любое производство это работа: работу никогда не выполняют саму для себя. Целью всегда является продукция, какой-то еще результат — что-то, что получает работник (или, что чаще, кто-то еще). Именно этим она с необходимостью является; причем определить ее так — уже значит ее заклеить. Но в реальности все обычно еще хуже, чем предполагает определение. Внутренне присущая работе динамика доминации со временем усложняется. В действительно пораженных трудом обществах, таких как любое индустриальное общество, капиталистическое либо «коммунистическое», работа неизбежно приобретает дополнительные свойства, которые делают ее еще более безобразной.

Обычно — в «коммунистических» странах, где государство есть единственный работодатель, даже больше, чем в капиталистических — люди работают по найму, за зарплату, иными словами, продают себя отмеренными ежемесячными порциями. Тем самым, 95% работающих американцев работают на кого-то (или на что-то). В СССР, в Югославии, на Кубе, в любом другом альтернативном обществе, которое может придти в голову, эта цифра достигает всех 100%. Только кое-где в третьем мире, осажденные бастиины крестьянства — Мексика, Индия, Бразилия, Турция — все еще дают временное пристанище заметным количествам сельскохозяйственных работников, которые живут по традиции последних нескольких тысячелетий — а именно, платят налоги (т. е. выкуп) государству, или оброк паразитам-землевладельцам за то, чтобы их оставили в покое. По нынешним временам,

даже такой грабеж начинает выглядеть привлекательно. Все работающие в промышленности (и в офисах) работают по найму, под слежкой, плодящей услужливость.

Но современная работа предполагает и худшее. Люди не просто работают, у них есть «профессии». Каждый конкретный человек постоянно выполняет конкретные отведенные ему функции, безо всякой альтернативы. Даже если функции эти хоть как-то интересны сами по себе (а все больше профессий не предполагают и этого), монотонное и обязательное их повторение в ущерб любой другой деятельности напрочь лишает их потенциальной привлекательности. «Профессиональные обязанности», которые сами по себе могли бы занять того или иного человека на какое-то разумно ограниченное время, ложатся тяжким бременем на любого, кто должен посвящать им сорок часов в неделю и кого совершенно не спрашивают, как именно он хотел бы их выполнять — все это ради выгоды хозяев, которые сами в работе никак не участвуют, и не имея возможности как-то объединить усилия или перераспределить отдельные задания между теми, кто на самом деле их выполняет. Вот он, настоящий мир труда — мир бюрократического идиотизма, навязчивых сексуальных домогательств, дискриминации, тупых начальников, эксплуатирующих подчиненных и их же обвиняющих во всех грехах — тех самых подчиненных, которые, по любому разумному критерию, должны бы сами принимать все решения. Вот только в реальном мире капитализм жертвует разумным увеличением производительности и доходности производства ради простоты управления им.

Унижения и деградацию, которые работа приносит большинству работающих, можно суммировать под общим наименованием «дисциплины». Фуко [В «*Surveiller et punir*», которое по-английски называется «*Discipline and punish*».] переусложнил это явление, которое само себе чрезвычайно просто. Дисциплина — это все проявления тоталитарного контроля на рабочем месте: постоянное наблюдение, рабочие часы, навязанные темпы работы, нормы выработки, наказания за опоздания и т. д. и т. п. Дисциплина — это то, что роднит фабрику, офис или магазин с тюрьмой, школой и психиатрической больницей. Это нечто ужасное, и в истории не встречающееся. Нечто, превосходящее все возможности таких демонических диктаторов прошлого, как Чингиз-хан, Нерон и Иван Грозный. При всех их поползновениях, у них просто не было таких механизмов контроля над подданными, как у наших современных деспотов. Дисциплина — это отчетливо дьявольский и современный способ правления, новшество, которое при первой возможности надо полностью запретить.

Так же, как и «работа»; которой в точности противоположна — игра. Игра всегда добровольна. Аксиома: то, что могло бы быть игрой, превращается в работу, если делается по принуждению. Берни де Ковен определял игру как «временное забвение последствий». Если понимать под этим, что игра ни к чему не ведет, то это определение неприемлемо. Не в том дело, что игра ни к чему не ведет. Говорить так — это принижать понятие игры. Дело в том, что любые результаты даются даром. Понятия игры и дара тесно связаны; это поведенческие и транзакционные проявления одного и того же игрового инстинкта. Их роднит аристократическое презрение к результату. Игрок что-то получает от игры; затем и играет. Но основное вознаграждение — это сами производимые действия (каковы бы они ни были). Некоторые в общем внимательные исследователи игры, такие как Йохан Хейзинга («*Homo ludens*»), определяют ее как партию, как розыгрыш по определенным правилам. При всем уважении к эрудиции Хейзинги, я решительно отвергаю вводимые им ограничения.

Полно отличных игр с четкими правилами — шахматы, бейсбол, монополия, бридж — но понятие игры гораздо шире. Беседа, секс, танцы, путешествия — все это никаким правилам не подчиняется; но если это не игра, что тогда игра? А правила — ну, с ними можно играть ничуть не хуже, чем со всем остальным.

Работа превращает свободу в издевательство. Партийная линия гласит, что все мы имеем права и живем при демократии. Другие, несчастные, в отличие от нас несвободны и живут в полицейских государствах. Эти жертвы обстоятельств вынуждены подчиняться приказам, сколь бы абсурдны и произвольны они ни были. Власти держат их под постоянным наблюдением. Государственные чиновники регулируют все, даже самые мельчайшие стороны повседневной жизни. Бюрократы, ими распоряжающиеся, не отвечают ни перед кем, кроме вышестоящих бюрократов, либо публично, либо приватно. В любом случае, несогласие и неподчинение наказуемы. Информаторы регулярно все сообщают властям. Все это, как предполагается, ужасно.

И это действительно ужасно — только это всего лишь описание условий на современной работе. Либералы, консерваторы и либертарианцы, оплакивающие ужасы тоталитаризма — лицемеры и обманщики. В любом слегка-десталинизированном диктаторском режиме свободы больше, чем на рабочем месте обычного американца. В офисе и на фабрике царит дисциплина и иерархия того же сорта, что в тюрьме или в монастыре. На самом деле, как продемонстрировали Фуко и другие, фабрики и тюрьмы появились примерно одновременно, а управляющие ими сознательно заимствовали друг у друга методы управления. Работник — это раб на пол-ставки. Работодатель говорит вам, когда явиться, до какого времени не уходить, и что делать в промежутке. Сколько работы выполнять, и с какой скоростью. При желании, он может довести свою власть до оскорбительных пределов — регулируя, если захочется, вашу одежду и количество разрешенных посещений туалета. С небольшими исключениями, он может уволить вас по любой причине или вовсе без таковой. Он напускает на вас стукачей и непосредственных начальников, которые за вами следят, и собирает на вас досье. Возражения называются «неподчинением» — как будто работник это непослушный ребенок — и за них вас могут не только уволить, но и лишить пособия по безработице. Не имея в виду безусловно утверждать, что и для них это обосновано, хочу заметить, что точно так же дома и в школе обращаются с детьми — мотивируя это их «незрелостью». Что же тогда сказать об их работающих родителях и учителях?

Описанная мной унижительная система доминации подчиняет себе большинство женщин и подавляющее большинство мужчин половину их активного времени — причем десятилетиями, большую часть их жизни. В определенном смысле, неправильно называть нашу систему капитализмом, или демократией, или — еще хуже — индустриальным обществом; ее настоящие имена — фабричный фашизм и офисная олигархия. Всякий, кто называет этих людей «свободными» — или дурак, или врет. Ты это то, что ты делаешь. Если ты делаешь скучную, тупую, монотонную работу, скорее всего ты сам станешь скучным, тупым и монотонным. Работа объясняет видимую повсюду ползучую дебилизацию гораздо лучше, чем гипотетические зомбирующие механизмы вроде телевидения или образования. Люди расчерчены по линейке всю свою жизнь — школа переходит в работу, с ограничителями в виде семьи вначале и дома для престарелых в конце; они приучены к иерархии и психологически поработочены. Способность к независимому существованию

атрофирована у них настолько, что страх свободы — одна из немногих фобий, имеющих под собой реальную почву. Послушание, намертво вбитое в людей на работе, выплескивается в семьи, которые они сами создают, воспроизводя таким образом систему дополнительным путем — а также в политику, культуру и все прочее. Лиши жизненной силы людей на работе — они и во всем остальном будут подчиняться иерархии и чужим мнениям. Им так привычнее.

Мы смотрим на мир труда из такой непосредственной близости, что не видим его таким, как он на самом деле есть. Чтобы осознать, как далеко и до какой патологии дошло дело, приходится полагаться на тех, кто смотрит со стороны — из другого времени, из другой культуры. В нашем собственном прошлом было время, когда «рабочая этика» была немыслима. Возможно, Вебер действительно не зря связал ее появление с религией, а именно, с кальвинизмом — который, появившись он сейчас, а не четыре века назад, был бы сразу и справедливо квалифицирован как тоталитарная секта. В любом случае, чтобы посмотреть на труд в перспективе, достаточно воспользоваться мудростью древних. Они знали, что из себя на самом деле представляет работа, и взгляд их, несмотря на трещины, проделанные кальвинизмом, оставался в силе вплоть до индустриализации — и был отмечен и отчасти поддержан даже ее пророками.

Давайте на минуту забудем о том, что работа превращает людей в обездвиженных подчиненных. Сделаем вид, что, вопреки всем разумным психологическим и идеологическим теориям, она никак не влияет на формирование личности. И допустим, что она не так скучна, унизительна и утомительна, как на самом деле. Даже в этом случае, она все равно превращает в издевку все гуманистические и демократические идеалы — просто потому, что отбирает так много нашего времени. Сократ говорил, что занимающиеся ручным трудом — плохие граждане и плохие друзья, потому что у них нет времени выполнять гражданский и дружеский долг. И он был прав. Из-за работы мы, что бы мы ни делали, всегда глядим на часы. Единственная «свобода» в так называемом свободном времени — это свобода работодателя от оплаты. Свободное время в основном посвящено подготовке к работе, поездке на работу, возвращению с работы и приведению себя в чувство после нее. Свободное время — это эвфемизм; он описывает странные свойства труда, который, будучи средством производства, не только доставляет себя с работы и на работу за свой счет, но и сам заботится о собственном ремонте и поддерживает себя в рабочей форме. Ни уголь, ни сталь этого не делают. Ни токарные станки, ни пишущие машинки. Это делают только работники. Не удивительно, что Эдвард Д. Робинсон в одном из своих гангстерских фильмов заявлял: «Работа — это для лохов!»

И Платон, и Ксенофонт приписывают Сократу — и сами очевидным образом разделяют — осознание того, как плохо работа сказывается на гражданских и человеческих качествах работающего. Геродот обозначил презрение к труду как одно из качеств классической Греции в период ее расцвета. В качестве одного только римского примера, процитируем Цицерона: «тот, кто предлагает труд за деньги, продает себя и ставит себя в положение раба». Такая откровенность сейчас встречается редко — но в современных примитивных обществах, на которые мы привыкли смотреть сверху вниз, находится достаточно людей, могущих кое в чем просветить западных антропологов. Капауку в западном Ириане, по сообщению Поспосила, считают необходимым поддерживать равновесие в жизни, а потому

работают только через день, день отдыха посвящая «восстановлению здоровья и силы». Наши предки, даже в восемнадцатом столетии, пройдя уже так далеко по пути к нашим теперешним несчастьям, по крайней мере осознавали еще то, что потеряли — оборотную сторону индустриализации. Их религиозное почтение к «святому понеделнику» — тем самым, установление *de facto* пятидневной рабочей недели за 150-200 лет до ее официального признания — было настоящей головной болью для фабрикантов той поры. Очень долго пришлось приучать их к гудку — предшественнику будильника. Вплоть до того, что на одно или два поколения взрослых мужчин пришлось заменить на женщин, приученных подчиняться, и на детей, который можно было воспитать для фабричной работы. Даже эксплуатируемые крестьяне времен *ancient regime* выкраивали заметное время для себя из того, что шло на помещичью работу. Согласно Лафаргу, четверть календаря французских крестьян занимали воскресенья и праздники. По статистике Чаянова, в деревнях царской России — не то, чтобы очень прогрессивном обществе — крестьяне также отдыхали от четверти до одной пятой дней. При всем нашем управлении, нацеленном на производительность, мы очевидным образом далеко позади этих отсталых обществ. Эксплуатируемые мужики спросили ли бы, зачем мы вообще работаем? И мы должны задать тот же вопрос.

Однако, чтобы увидеть всю глубину нашего вырождения, давайте рассмотрим самое изначальное состояние человечества, то, когда мы бродили как охотники и собиратели, не зная ни собственности, ни правительств. Гоббс предполагал, что жизнь тогда была неприятна, жестока и коротка. Другие считают, что жизнь состояла в безнадежной и непрерывной борьбе за существование, войне с жестокой Природой, в которой несчастье и смерть поджидали каждого, кому не повезло, или кто оказался неспособен к борьбе за существование. В реальности, это была не более чем проекция собственного страха — страха остаться без власти правительства в обществе, которое не привыкло без нее обходиться, вроде Англии Гоббса во время гражданской войны. Соотечественники Гоббса тогда уже встречались с альтернативными способами организации общества, дающими другой образ жизни — в особенности в Северной Америке — но это явление оказалось уже слишком далеко за чертой привычного, и понято быть не могло. (Низшие слои общества, по условиям жизни более близкие к индейцам, понимали их лучше и зачастую находили их образ жизни привлекательным. В течение всего семнадцатого века, английские фермеры дезертировали и уходили к индейцам или, будучи захвачены в плен, отказывались возвращаться домой. Индейцы же уходили к белым поселенцам не чаще, чем немцы лезут через берлинскую стену с запада на восток.) Как показал анархист Кропоткин в своей книге «Взаимопомощь как фактор эволюции», версия дарвинизма, данная Томасом Гексли — «выживание сильнейших» — гораздо лучше описывает экономические условия викторианской Англии, чем естественный отбор. (Кропоткин был ученым — географом — и, будучи сослан в Сибирь, невольно получил отличные возможности для полевой работы; он знал, о чем говорил.) Как и большинство политических и социальных теорий, история, рассказываемая Гоббсом и его последователями — не более, чем завуалированная автобиография.

Антрополог Маршалл Салинс, исследуя данные о современных охотниках-собирателях, в своей статье «Первое общество изобилия» полностью разоблачил гоббсианский миф. Работают они гораздо меньше чем мы — а их работу гораздо труднее отличить от того, что

мы бы назвали игрой. По заключению Салинса, «охотники и собиратели работают меньше нас, поиск пищи вовсе не есть непрерывный труд, но занятие от раза к разу, досуг наличествует в изобилии, а количество часов сна в дневное время на человека в год превосходит все, что можно найти в любом другом общественном слое». Работали они в среднем четыре часа в день — если это вообще можно назвать «работой». «Труд» их, в наших терминах, был трудом квалифицированным, задействующим их физические и интеллектуальные способности; по словам Салинса, неквалифицированный труд в любом заметном объеме возможен только в индустриальном обществе. Тем самым этот труд подходил под определение игры, данное Фридрихом Шиллером — как единственного вида деятельности, в которой человек реализует себя полностью, включая обе стороны двойственной своей природы — и мысль, и чувство. В его формулировке, «животное работает тогда, когда основным стимулом для является недостаток, и оно играет тогда, когда главный стимул это избыток силы, когда жизнь, бьющая через край, сама побуждает действовать». (Современная — и сомнительным образом поданная как «модель развития» — версия того же самого сформулирована Абрахамом Маслоу в виде противопоставления мотиваций «нехватки» и «роста».) Во всем, что касается производства, игра и свобода занимают одно и то же место. Даже Маркс, попавший (несмотря на все благие намерения) в пантеон продуктивизма, замечал, что «царство свободы начинается только тогда, когда пройдена точка, после которой больше не требуется труд, вынуждаемый необходимостью или внешней полезностью». Он так никогда и не смог заставить себя признать эту счастливую грань тем, чем она на самом деле является, а именно, точкой упразднения труда — в конце концов, довольно странно выражать интересы рабочих и требовать упразднения работы. Но мы-то можем себе это позволить!

Желание вернуться к — или, наоборот, достигнуть — жизни, в которой работы нет, очевидно в любой серьезной книге по социальной или культурной истории пред-индустриальной Европы, такой, как «Англия в движении» М. Дороти Джордж или «Народная культура на заре современной Европы» Питера Берка. Также важно эссе Дэниела Белла «Работа и недовольство» — насколько я знаю, это первый текст, в котором явно упоминался «бунт против работы» и (будь он понят) важная поправка к тому безвольному впечатлению, которое обычно остается от содержащего его тома под названием «Конец идеологии». Ни поддерживающие, ни критикующие не заметили, что тезис Белла о «конце идеологии» значит не конец социальной нестабильности, а напротив, начало новой и непознанной ее фазы, не выраженной идеологически и никакой идеологией не сдерживаемой. Это не Белл, а Симор Липсет провозгласил (в то же самое время, в эссе «Человек политический»), что «фундаментальные проблемы индустриальной революции решены» — всего за несколько лет до того, как не то пост-, не то мета-индустриальное недовольство студентов вышвырнуло его из Беркли в относительное (и временное) спокойствие Гарварда.

Как отметил Белл, Адам Смит, в «Богатстве Наций», несмотря на весь свой энтузиазм по поводу рынка и разделения труда, видел неприглядные стороны работы гораздо лучше (и честнее), чем Айн Ранд, или чикагские экономисты, или другие его современные эпигоны. По наблюдению Смита, «представления большей части людей с необходимостью формируются привычным их окружением. Человек, чья жизнь занята выполнением нескольких простейших действий... не получает возможности утруждать свой ум... Как правило, он становится глупым и невежественным настолько, насколько возможно для человеческого

существа.» Вот все мои возражения против работы, в нескольких честных словах. В 1956 году, в Золотой Век эйзенхауеровского кретинизма и американского самодовольства, Белл выявил неорганизованное и неорганизуемое недомогание 70х и всех последующих лет — то, что описано в отчете HEW «Работа в Америке», то, которое ни одно политическое течение не смогло оседлать, то, которое нельзя использовать, и приходится потому игнорировать. Эта болезнь — неприятие работы. Ни в одном тексте ни одного рыночного экономиста — будь то Милтон Фридман, Мюррей Ротбард или Ричард Познер — она не встречается, потому что, как говорили в «Стар Треке», в их терминах проблема «невычислима».

Приведенные возражения против работы основаны на свободолюбии и могут показаться неубедительными для гуманистов прагматического или даже патерналистского склада — но есть и другие, от которых они отмахнуться не смогут. Заимствуя рекламный лозунг, можно сказать что «работа опасна для вашего здоровья». На самом деле, работа это просто массовое убийство и геноцид. Прямо или косвенно, работа рано или поздно убьет почти всех читающих эти строки. В этой стране, ежегодно на рабочем месте погибает от 14,000 до 25,000 человек. Более двух миллионов получают увечья. Причем эти цифры основаны на крайне консервативном определении увечья, связанного работой — поэтому они не учитывают ежегодные пол-миллиона случаев профессиональных заболеваний. Я взял в руки один из учебников по профессиональным заболеваниям — в нем было больше 1,000 страниц. И даже это едва задевает верхушку айсберга. Существующая статистика включает в себя только очевидные случаи — такие, как 100,000 горняков, страдающих черной болезнью легких, из которых каждый год 4,000 умирают — процент летальных исходов выше, чем у СПИДа, которому СМИ уделяют куда больше внимания. (Потому что втайне все думают, что СПИД поражает только извращенцев, которые могли бы и воздержаться, в то время как добыча угля — это нечто священное и общественно необходимое.) Но статистика не учитывает десятки миллионов людей, для которых работа означает сокращение продолжительности жизни — а ведь это и есть по определению человекоубийство. Подумайте о врачах, который дорабатываются до смерти, не дожив до 60летия. Подумайте о других работоголиках.

Если даже тебя не убьют и не изувечат непосредственно во время работы, это вполне может произойти, когда ты идешь на работу, когда ты возвращаешься с нее, ищешь ее, пытаешься про нее забыть. Подавляющее большинство погибших в автокатастрофах — это либо люди, занятые чем-то из вышеперечисленного, либо их жертвы. К этому расширенному списку убитых надо добавить пострадавших от индустриального загрязнения среды, а также от вызванного работой алкоголизма или наркомании. И рак, и сердечно-сосудистые заболевания в большинстве случаев можно доказуемо связать с работой, или косвенно, или прямо.

Итак, работа — это человекоубийство, институционализованное как образ жизни. Как все знают, кампучийцы сошли с ума и устроили автогеноцид. Но мы-то чем от них отличаемся? У режима Пол Пота хотя бы было видение справедливого, эгалитарного мира — пусть мутное. Мы убиваем людей в (по крайней мере) шестизначных количествах ради того, чтобы чтобы продавать выжившим «Биг-Маки» и «Кадиллаки». Наши сорок и пятьдесят тысяч ежегодно погибающих в автокатастрофах — мясо, не мученики. Они погибают ни за что. Вернее, за работу — но погибать за работу это все равно что погибать ни за что.

И факт, печальный для либералов — регулирующее вмешательство государства в этой борьбе не на жизнь, а на смерть совершенно бесполезно. ФАЗБ, Федеральная Администрация Здравоохранения и Безопасности на Рабочем Месте была создана, чтобы регулировать ключевую проблему — безопасность на рабочем месте. Но ФАЗБ была фарсом еще до того, как Рэйган придушил ее Верховным Судом. По старым (и щедрым на сегодняшний день) картеровским стандартам финансирования, каждый работник мог ожидать посещения от инспектора ФАЗБ один раз в 46 лет.

Государственное управление экономикой проблему тоже не решает. В странах государственного социализма работа, пожалуй, еще опаснее, чем у нас. При строительстве московского метро погибли и получили увечья тысячи русских рабочих. Ходят упорные слухи о замолчанных советских атомных катастрофах, по сравнению с которыми Таймс-Бич и Три-Майл Айленд выглядят, как учение по гражданской обороне в начальной школе. [Это написано за три года до Чернобыля.] С другой стороны, модная сейчас дерегуляция не поможет, а скорее всего, и повредит. С точки зрения здоровья и безопасности, работа выглядела хуже всего именно там, где условия максимально приближались к неуправляемому рыночному капитализму. Такие историки, как Юджин Дженовиз, убедительно показали, что — как и утверждали апологеты довоенного рабства — наемные рабочие на фабриках штатов американского Севера и Европы жили хуже, чем рабы на плантациях американского Юга. Похоже, что никакие перестановки и переупорядочивания бизнесменов и бюрократов ситуацию на собственно производстве не меняют никак. Серьезное проведение в жизнь даже тех туманных стандартов, за которыми в теории следит ФАЗБ, скорее всего намертво остановит всю экономику. По-видимому, следящие это осознают — по крайней мере, бороться с самыми злостными из нарушителей они даже и не пытаются.

Все сказанное до сих вообще не должно было бы быть спорным. Большинство работающих сыты работой по горло. Проценты прогулов, увольнений, мелкого воровства и саботажа, спонтанных забастовок и прочего надувательства на работе высоки и постоянно растут. Похоже, что есть и движение к осознанному отказу от работы, а не только инстинктивному ее неприятию. И тем не менее, общее мнение — тотальное среди работодателей и их агентов, и очень распространенное также среди работников — это что работа сама по себе неизбежна и необходима.

Я не согласен с этим. В настоящее время нам вполне по силам упразднить работу и заменить ее, во всех ее полезных аспектах, разнообразной свободной деятельностью нового типа. К упразднению работы надо идти с двух сторон — с качественной и с количественной. С одной стороны, количественной, следует решительно сократить объем выполняемой работы. В настоящий момент большая часть работы совершенно бесполезна, если не хуже, и от нее надо просто избавиться. С другой стороны — и в этом, я думаю, суть проблемы и революционно-новый подход — надо взять ту полезную работу, которая останется, и преобразовать ее в восхитительное разнообразие игр и ремесел — неотличимых от других видов приятного времяпрепровождения, но дающих в конце концов полезный продукт. Уж конечно это само по себе не сделает их менее приятными. После этого, можно будет полностью разрушить искусственные барьеры власти и собственности; созидание станет развлечением. И нам не надо будет больше друг друга бояться.

Я не думаю, что таким образом можно сохранить большую часть работы. Но большую часть работы и не следует сохранять. Лишь малая, постоянно уменьшающаяся часть работы служит какой-то полезной цели, чему-то кроме защиты и воспроизводства системы всеобщего труда с ее политическими и правоохранными придатками. Двадцать лет назад, по оценке Пола и Персиваля Гудманов, лишь пяти процентов всего затрачиваемого труда хватило бы, чтобы удовлетворить наши минимальные потребности в еде, жилье и одежде. Надо полагать, что если эта цифра точна, то сейчас она была бы еще меньше. Они дали только оценку — но сути это не меняет: прямо или косвенно, большая часть работы имеет цели непроизводительные — торговлю и управление обществом. Прямо так, сходу, можно освободить десятки миллионов продавцов, солдат, менеджеров, ментов, брокеров, священников, адвокатов, банкиров, учителей, охранников, квартирных хозяев, рекламных агентов, а также всех, кто работает на них. Это как лавина — каждый раз, когда от работы освобождаешь большого начальника, с ним освобождаются все его подчиненные и лакеи. Экономика схлопывается.

Сорок процентов рабочей силы — это «белые воротнички»; почти всем им достаются самые идиотские и скучные виды работы, какие только можно придумать. Целые области экономики — например, страховой и банковский секторы, а также торговля недвижимостью — целиком состоят из бессмысленного перекладывания бумаг. Не случайно то, что «третичный» сектор, сектор служащих, продолжает расти, в то время как «вторичный» сектор (промышленность) находится в застое, а «первичный» (сельское хозяйство) практически исчез. Поскольку работа нужна только тем, чью власть она поддерживает, работников, для поддержания общественного порядка, легко можно перемещать из относительно полезных областей в относительно бесполезные. Что угодно, лишь бы не вообще ничего. Вот почему когда ты раньше заканчиваешь, ты не можешь пойти домой. Им твое время нужно, столько, сколько нужно, чтобы тебя подчинить — хотя использовать его они по большей части не могут. Как иначе объяснить то, что за последние пятьдесят лет средняя продолжительность рабочей недели уменьшилась лишь на несколько минут?

Далее, переходим к расчленению собственно работы производительной. Отсекаем военную промышленность, атомную энергию, гамбургеры и прочую мусорную еду, интимные дезодоранты для дам — а прежде всего, автомобили. Изредка встречающийся «Форд-Т» или паровик Стэнли — с этим проблем нет; но автоэротизм, на котором вспухли такие язвы, как Детройт и Лос-Анджелес, отмечается без обсуждения. Даже не думая об этом, мы тем самым практически решаем проблему энергоресурсов, проблему окружающей среды, и все вытекающие из них социальные проблемы.

И наконец, мы должны искоренить самую распространенную профессию, с самым долгим рабочим днем, самой маленькой зарплатой, самыми неприятными порой обязанностями — работу домохозяйки: поддержание очага и уход за детьми. Упразднив наемный труд и добившись полной незанятости, мы подрываем основы полового разделения труда. Базовая семья, как мы ее знаем — это всего лишь неизбежное приложение к тому разделению труда, которого требует современная система работы по найму. Нравится вам это или нет, но последний век или два экономически разумно именно то, что мужчина зарабатывает на хлеб, женщина копается в дерьме, обеспечивая ему безопасное убежище в бессердечном мире, а дети строем идут в молодежные концентрационные лагеря, называемые «школами»

— в основном для того, чтобы не мешать маме, оставаясь тем не менее под контролем, но заодно и чтоб научиться пунктуальности и послушанию — качествам, необходимым для работника. Если хочешь избавиться от патриархата, прежде всего избавляйся от базовой семьи — потому что неоплачиваемая семейная «теневая работа», как назвал ее Иван Иллич, делает возможной работу оплачиваемую, а та, в свою очередь, заставляет вводить базовую семью. Вторая половина предлагаемого нулевого варианта — упразднение «детства» и уничтожение школ. В этой стране учащихся полный день больше, чем на полную ставку работающих. Наши дети нужны нам как учителя, не как ученики. Им есть что добавить в луддитскую революцию, просто потому, что они гораздо лучше взрослых умеют играть. Взрослые и дети это не одно и то же — но взаимозависимость делает их равными. Барьер между поколениями можно преодолеть, только играя.

Пока что я даже не упоминал о возможности на порядок сократить оставшуюся малую, но необходимую часть работы через автоматизацию и кибернетизацию. Ученые, инженеры и техники, которым больше не нужно будет отвлекаться на военные программы и заранее планировать технику так, чтоб она через два года морально устаревала, получают огромное удовольствие, разрабатывая способы уничтожить усталость, скуку, обезопасить такие виды деятельности, как горные разработки. И уж конечно они придумают массу других проектов, чтобы себя занять. Может быть, создадут всеобъемлющую всепланетную мультимедийную коммуникационную сеть. Может быть, построят колонии на других планетах. Может быть. Сам я не большой поклонник технических штук. Электрический рай с кнопками — не для меня. Я не хочу, чтобы за меня работали роботы; я все хочу делать сам. Мне кажется, что место в будущем для трудосберегающих технологий есть, но небольшое. Исторические и доисторические прецеденты говорят не в их пользу. Когда технология производства от охоты и собирательства развилась до сельского хозяйства, а затем до промышленности, количество работы возросло, а умений и самоопределения стало меньше. Дальнейшая индустриализация лишь подчеркивает то, что Гарри Браверман называл «деградацией труда». Думающие наблюдатели всегда это осознавали. Джон Стюарт Милль писал, что все трудосберегающие изобретения, когда-либо предложенные, так и не сберегли ни минуты труда. Карл Маркс писал, что «можно написать целую историю изобретений, сделанных, начиная с 1830х годов, исключительно для того, чтобы дать капиталу оружие борьбы с пролетариатом». Энтузиасты-технофилы — Сен-Симон, Конт, Ленин, Б. Ф. Скиннер — все были бессовестно авторитарны; все они были технократами. К обещаниям компьютерных мистиков надо подходить с большим скепсисом. В конце концов, сами они пашут, как волю — скорее всего, дай им волю, нам тоже житья не будет. Однако любые конкретные предложения — если человеку от них больше пользы, чем обычно бывает от продуктов хай-тека — все это обязательно надо выслушать.

Но чего я действительно хотел бы — это увидеть, как работа превратится в игру. Первый шаг в этом — отбросить понятия «профессии» и «рода занятий». Даже деятельность, не лишенная игрового содержания, напрочь теряет его, когда превращается в профессию — то, что определенные люди, и только они, обязаны делать в ущерб всему остальному. Не странно ли — современные крестьяне в поте лица, по принуждению трудятся на полях, а современные, защищенные кондиционерами помещики каждые выходные добровольно едут на дачу и копаются в огороде? Установив непрерывные выходные как образ жизни, мы получим такой Золотой Век дилетантизма, какой и не снился эпохе Возрождения.

Профессий больше не будет — только вещи, которые надо сделать, и люди, которые хотят их делать.

Как показал Шарль Фурье, ключ к тому, чтобы превратить работу в игру — это перераспределить необходимые виды деятельности так, чтобы максимально использовать то, что разные люди в разное время на самом деле хотят делать. Многие получают возможность заняться тем, что им нравится — стоит просто устранить те иррациональные искажения, которые введены в соответствующие виды деятельности из-за того, что их превратили в работу. Я, например, с удовольствием некоторое (не очень большое) время занимался бы преподаванием — но мне не нужны студенты, которых заставляют учиться, и я не хочу угождать жалким педантам в погоне за постоянной позицией.

Далее — есть вещи, которые люди хотели бы делать иногда, но не слишком долго, и уж точно не все время. Сидеть с детьми несколько часов в день может быть очень здорово, просто потому что с детьми интересно — но точно не столько времени, сколько делают это родители. Родители, с другой стороны, будут крайне признательны за то время, которое они получают для себя — хотя они будут волноваться, если забрать детей на слишком долгое время. Именно такие различия между людьми и делают возможной свободный, игровой образ жизни. Тот же принцип применим ко многим другим видам деятельности — в особенности к основным, базисным. Так, многие с удовольствием готовят в свободное время — но мало кому нравится поставлять топливо для идущих на работу человеческих тел.

Наконец — при прочих равных — вещи, которые неприятно делать одному, или в плохих условиях, или по приказу начальства, вполне могут стать хотя бы на какое-то время приятными, если эти обстоятельства изменить. Это скорее всего применимо, в какой-то мере, ко всей работе вообще. Люди тратят огромное количество не имеющей другого выхода сообразительности, чтобы по мере сил превратить в игру самые скучные и тупые виды работы. Деятельность, приятная одному, неприятна другому — но каждый имеет разнообразные интересы, и заинтересован в разнообразии. Как говорится, «один раз — все, что угодно». Фурье был настоящим мастером по тому, как самые извращенные и нестандартные вкусы обращать на пользу пост-цивилизovanному обществу — тому, что он называл «Гармонией». Он полагал, что с Нероном все было бы в порядке, если бы он в молодости насытил свою страсть к кровопролитию, поработав на бойне. Печально известную радость, с которой маленькие дети валяются в грязи, можно использовать, организовав их в «Маленькие Банды» по очистке туалетов и выносу мусора — с медалями для особо отличившихся. Я рекламирую не эти конкретные примеры, но сам принцип — который, я думаю, составляет важное направление глобального революционного переустройства. Надо помнить, что у нас нет задачи взять все имеющиеся сейчас виды работы и распределить ее по соответствующим людям — из которых некоторые должны были бы быть воистину извращенцами. Если во всем этом и есть место для технологии, то оно скорее не в том, чтобы автоматизировать работу до полного ее уничтожения, но в том, чтобы открыть новые области для созидания и игры. В некотором смысле, хотелось бы вернуться к ремеслам — то, что Вильям Моррис полагал полезным и желательным результатом коммунистической революции. Искусство мы отберем у снобов и коллекционеров, уничтожим как специализированную фабрику для развлечения элит, и вернем спрятанную в нем красоту и творчество в целостную, единую жизнь — из которой

работа их выкрала. Очень полезно помнить, что греческие амфоры, о которых мы пишем оды и которые храним в музеях, в свое время использовались, чтобы возить масло. Мне не кажется, что объекты нашего сегодня¹⁴ шего быта ждет в будущем такое же обожание — если это будущее вообще будет. Суть в том, что в мире работы такой вещи, как прогресс, просто нет; если что-нибудь есть, то ровно обратное. Не надо стесняться красть у древних то, что у них было — от них не убудет, а мы станем богаче.

Переоткрыть повседневную жизнь — это значит выйти за рамки имеющихся у нас карт. Конечно, и это правда, уже написано гораздо больше спекулятивных утопий, чем полагает средний человек. Кроме Фурье и Морриса — и Маркса, намеками в основном тексте — есть сочинения Кропоткина, синдикалистов Пато и Пуже, старых (Беркман) и новых (Бутчин) анархо-коммунистов. «Communitas» братьев Гудманов — образцовое описание того, как формы вытекают из функций (целей); кое-что можно почерпнуть у провозвестников, обычно туманных, альтернативной/аппроприирующей/промежуточной/содружественной технологии, таких, как Шумахер и в особенности Иллич — если сначала отключить их туманогенерирующие агрегаты. Ситуационисты — конкретно, «Революция повседневной жизни» Ваннейгема и «Антология Ситуационистского Интернационала», — излагают свои мысли с восхитительно безжалостной ясностью — пусть даже они так и не смогли толком согласовать свою схему рабочих советов с упразднением работы. Все же, лучше уж их несоответствия, чем любая из существующих ныне версий левачества — все адепты которого проповедуют труд, ибо, не будь труда, не будет и трудящихся, а кого тогда организовывать левакам?

Итак, в конечном счете аболиционисты — сторонники полного упразднения труда — остаются без ориентиров. Никому не под силу предсказать, что выйдет из той творческой бури, которую высвободит уничтожение труда. Все, что угодно. Надоевший всем спорный пункт о свободе/необходимости, с его теологическими коннотациями, на практике разрешит сам себя, как только производство «полезного продукта» совместится с потреблением «игровой деятельности».

Жизнь станет игрой — вернее, многими играми одновременно — но ни одна из них не будет безвыигрышной. Образец производящей игры — оптимальный сексуальный контакт. Участники обуславливают удовольствие друг для друга, счета никто не ведет, и выигрывают все. Чем больше даешь, тем больше получаешь. В луддитском мире, лучшее в сексе проникнет в поры повседневной жизни. Обобщенная игра приводит к эротизации жизни. Собственно секс при этом становится менее надрывным и срочным, более игровым. Если играть правильно, все мы получим от жизни больше, чем дали — но только если играть на выигрыш.

Никто и никогда не должен работать. Пролетарии всех стран,... расслабьтесь!

Версия #2

Зверобой создал 27 мая 2025 01:47:24

Зверобой обновил 27 мая 2025 01:49:54